ДОЛГОЕ ЭХО НАШИХ СЛОВ

РАССКАЗЫ

Самые важные слова мы не договариваем.

МИРА КОРАБЛЁВА



18+

18+

МИРА КОРАБЛЕВА

ДОЛГОЕ ЭХО НАШИХ СЛОВ

«Автор»
2026

КОРАБЛЕВА М.

ДОЛГОЕ ЭХО НАШИХ СЛОВ / М. КОРАБЛЕВА — «Автор», 2026

О чем молчат женщины за сорок? О своей уязвимости, которую прячут за силой, улыбками, иллюзиями и прожитыми годами.Шесть историй. Шесть женщин, которые ошибались, предавали, теряли, выживали.Вере досталось в наследство чужое проклятие. Таисия заплатила за успех предательством лучшей подруги. Светлана, уходя, оставила подругам право жить. Марта полжизни любила того, кто этого не стоил. Жанна хотела отомстить - и в шаге от пропасти увидела себя настоящую. А несколько старых подруг за праздничным столом вскрыли то, о чем молчали десятилетиями.Это проза об откровение и раскаяние, вине и прощении, которые не приходят по расписанию. О том, что любовь бывает невыносимой, а счастье - не тем, чем казалось.«Долгое эхо наших слов» - это рассказы для тех, кто знает: самые важные слова мы не договариваем. Но их эхо остается с нами навсегда.

© КОРАБЛЕВА М., 2026
© Автор, 2026

ДОЛГОЕ ЭХО НАШИХ СЛОВ

ПЛОХАЯ РОДНАЯ КРОВЬ



Я не знаю, с чего начать. Мне кажется, я никогда не была честна. Ни с собой, ни с Богом, ни даже… со всеми, кого я любила.

Вы знаете, что такое счастье? Да, конечно, знаете. Вот и я раньше, когда-то очень давно, тоже думала, что знаю. Я вышла замуж за Костю, когда мне было 19 лет. Я влюбилась в него по уши. Мы были абсолютно счастливы. Он был меня старше и по тем временам преуспевал. У нас была своя небольшая квартира и бесконечная любовь. Которая принесла нам двух дочек. Счастье – это их запах. Я знала это всегда. Запах детских волос после ванны – чистота, смешанная с ароматом спелого яблока. А еще счастье – это сирень. Липкие влажные гроздья за окном, пьянящие и беззащитные в своей краткой жизни. Я думала, что это будет вечно. Я не знала, что под этим нежным слоем скрывается иной фундамент – опасный и зыбкий, как болото, и что в самой сердцевине моего счастья тикает неумолимая бомба, заложенная в кровь моего мужа.

Это надвигалось медленно, но неотвратимо.

Костя стал задерживаться. Сначала на час. Потом – до ночи.

– Костик, ужин стынет. Ты где? – звонила я ему, когда он не приходил в привычное время.

– Прости, Вер. Работа. Аврал.

Его голос был в это время плоским, не знаю, как объяснить… Выцветшим, как старая фотография. А потом его настроения стали меняться с капризной скоростью. То он хохотал над ерундой, и смех его звенел неестественно, истерично. То погружался в молчание – густое, утробное, которое можно было резать ножом и намазывать на хлеб. Оно давило на виски, это молчание.

Я списывала на усталость: он муж, отец, добытчик. Пока однажды не полезла на антресоль за зимними свитерами. Моя рука наткнулась на что-то картонное, шершавое. Я вытащила коробку. Аккуратная, непыльная. Внутри – ровные ряды пузырьков. Маленькие солда-

тики апокалипсиса. «Амитриптилин». «Ламотриджин». «Галоперидол». Слова, звучащие как заклинания на мертвом языке.

Я ждала его весь вечер. Сидела на кухне, и пузырьки лежали передо мной на столе как обвинение.

Он вошел, усталый, и сразу их увидел.

– Что это, Костя? – спросила я, и мой голос прозвучал как чужой.

Он молчал. Казалось, вечность. Потом сел, опустил голову на руки.

– У меня наследственное заболевание, – прошептал он в ладони. – Неизлечимое. Непредсказуемое. Родители сказали… не говорить тебе. Мы думали, ты испугаешься. Не выйдешь замуж за меня. Я бы этого не пережил.

Он поднял на меня глаза, и они мне показались совсем чужими. Я застыла. И мир мой застыл. Затем первым чувством, горячим и позорным, было не сострадание. Не страх за него. Это придет позже. Первой дикой, животной волной поднялось отвращение. Отвращение ко лжи. Ко всей этой конструкции из его поцелуев, утренних объятий и ужинов при свечах, которая оказалась фасадом, за которым скрывалась вот эта картонная коробка с фармацевтическим ужасом. Меня тошнило. От него. От себя. От нашей жизни, которая была теперь и не жизнью совсем, а искусной подделкой. А потом наступил страх. Думаете, я боялась за себя или за Костю? Нет, конечно. Я боялась даже подумать, что это может догнать моих девочек. Моих самых красивых, веселых, непоседливых кудрявых дочек.



Болезнь нашла их по-разному. Как если бы один и тот же яд влили в две разные колбы, и он вступил в реакцию с разным содержимым.

Катюша. Моя старшая, Катя. В шестнадцать у нее в глазах появился лихорадочный нездоровый блеск. Пропадали деньги. Вещи. Потом я нашла пакетики с порошком, наивно спрятанные в «Войне и мире». Стыд сжег меня изнутри. Мы сидели у врача, молодого человека с усталыми глазами.

– Компульсивное поведение, – говорил он, глядя в бумаги. – Попытка регуляции эмоционального фона через поиск острых ощущений. Частое явление при пограничном расстройстве.

– Что нам делать? – спросила я, и мой голос был тонок, как паутинка.

– Терапия. Стабилизаторы. Научиться жить с этим.

Я водила ее по клиникам. Умоляла, плакала, запирала дома. Однажды, после очередного побега, я схватила ее за плечи.

– Катя, опомнись! Ты же себя губишь!

Она смотрела на меня сквозь меня, ее взгляд был пустым и бесконечно далеким.

– Мам, ты не понимаешь. Меня как будто ветром сносит. Я не могу сопротивляться.

А потом появился Максим. Ее спаситель… Буксир. Тихий, молчаливый, с непробиваемым внутренним стержнем. Его здоровая простая натура и сексуальность стала для нее формой смирительной рубашки. Он мог ее «успокоить». Почти всегда. Редко «ветер» возвращался, и она пропадала. Появлялась потом серая, разбитая.

– Простите меня. Не удержалась.

Она родила сына. Мишку. Я смотрела на этого розового здорового мальчика и цеплялась за него, как утопающий за соломинку. Значит, не все потеряно? Может, проклятие не абсолютно?

Но с Ксюшей все было иначе. Болезнь была ее сутью. Она расцвела к шестнадцати такой дикой языческой красотой, что останавливала движение машин на дороге. И это была не просто красота. Это была плоть, торжествующая над духом. Жизнь, утверждающая себя самым примитивным и мощным образом.

Для меня же она стала воплощением моего самого большого кошмара. Я находила ее в подъездах, в кустах, однажды – в кабине фуры на обочине. Ее тело стало публичным парком, местом безличного и бездушного потребления. И я… я ее ненавидела в эти моменты. Боже, прости меня, я ненавидела свою дочь. Ее плоть, ее жизнь, которую она проживала так, как не могла принять моя уставшая испуганная душа.

Однажды, втащив ее в квартиру, я трясла ее, рыдая:

– Ксюша! Да ты себя совсем не уважаешь! Это же унизительно!

Она смотрела на меня своими огромными прозрачными, как у молодой кошки, глазами. В них не было ни стыда, ни вызова.

– А что в этом плохого, мам? – спросила она искренне. – Мне хорошо. Я чувствую жизнь. Всю, до капельки.

В эти моменты я раздваивалась. Мать, желающая защитить свое дитя, сходилась в смертельной схватке с существом, испытывающим глубочайшее первобытное отвращение к тому, во что превратилась ее плоть и кровь.



Потом Ксюша исчезла. Растворилась в мире. Сначала я прошла через ад ее поисков. Потом наступило ледяное отчаяние. Наконец – тишина. Пустота. Я пошла на кладбище и установила табличку на могиле моих родителей: «Ксения Соколова. Любимая дочь». Я похоронила ее заживо. Это был единственный способ не сойти с ума.

Я не знала, что мое горе – лишь смутное подобие того, что случилось с ней. Ее продали. Мою девочку продали, как вещь. Накачали веществами и продали. Очнулась она в сарае, на цементном полу. Голая. На цепи. И начались не просто сексуальные развлечения и утехи похотливых негодяев, а процесс систематического уничтожения всего человеческого в ней. Ее прекрасное тело, созданное для жизни и наслаждения, стало местом для самых уродливых проявлений жестокости. Два года. Из богини она превратилась в затравленное, сломленное животное, думающее только о боли и куске хлеба. А когда от нее осталась одна тень, ее выбросили в ущелье, как использованный сломанный предмет. Ее нашли туристы. Полумертвую. В больнице она медленно возвращалась к жизни, как возвращается вода в пересохший колодец. Она с трудом вспомнила свое имя.

Звонок в дверь прозвучал как выстрел. Я открыла. На пороге стоял человек, социальный координатор, как я потом выяснила, а за ним – существо. Седые спутанные волосы. Глаза – два безжизненных провала. Тело, покрытое паутиной шрамов и желто-синих пятен.

Она молчала. Я смотрела, не понимая. И тут мой взгляд упал на ее руку. На запястье – знакомая родинка, крошечное пятнышко, похожее на сердечко, которое я целовала тысячу раз, укладывая ее спать.

Мир перевернулся, сорвался с оси и рухнул в бездну.

– Мама, – проскрипело существо. – Это я.



Теперь мое отвращение совершило алхимический переход. Оно превратилось в яростную, почти безумную гиперопеку. Я стала тенью ее тени. Кормила с ложки. Мыла это изуродованное тело, ставшее вдруг таким хрупким. Заваливала таблетками, которые превращали ее в апатичное, быстро толстеющее создание. Она впала в детство. Память, милосердная садистка, стерла ужас, оставив лишь смутные бесформенные очертания.

В этом новом режиме я нашла странный извращенный покой. Это был мой крест. Мое искупление за ту злобу, тот ужас и то отвращение, которые я когда-то испытывала. Я мыла ее, и мне казалось, что я смываю с нее и себя грех.

Но болезнь – коварный враг. Она оставляет лазейки. Просветы.

Одной ночью я услышала тихий звук. Вошла в комнату. Ксюша сидела на кровати. Она смотрела на свои руки – распухшие, в багровых стриях.

– Мама, – сказала она тихо, и в ее сиплом голосе пробилась та, прежняя интонация, заставившая мое сердце остановиться. – Мне снилось… что меня ломали. Долго. По кусочкам. А я не могла проснуться.

В ее глазах стоял не детский испуг, а взрослый ужас осознания. Ужас того, кто на миг заглянул в яму, в которую упал.

– Ничего, дочка, ничего. Тебе показалось, – залепетала я, лихорадочно хватая пузырек, мое спасение и ее тюрьму.

На следующее утро я нашла ее. Пустая упаковка снотворного лежала на полу как вызов. Это был не срыв. Это был единственный по-настоящему осознанный и волевой поступок в ее жизни. Ее последнее «нет». Миру, болезни, боли. И, возможно, мне.

Теперь я осталась одна. Совершенно. Катя с семьей уехала далеко, спасаясь от мрака. В ее редких звонках я слышала вечный приглушенный страх – за сына, за себя и за ту хрупкую стабильность, что они выстроили с мужем.

– Мам, у нас все хорошо, – говорила она, но в ее голосе зияла такая пустота, что в нее можно было провалиться.

Костю я поместила в хороший пансионат. Перед отъездом он подарил мне редкую минуту ясности. Он взял мою руку своими холодными дрожащими пальцами и посмотрел на меня тем взглядом, который я когда-то так любила.

– Прости, Вер… Я так боялся ее. Эту тень во мне. И заразил ею вас всех.

Долг был исполнен. Все долги были исполнены.

Я сидела в пустой чистой квартире. Тишина была оглушительной. Я перебирала вещи – старую кофту Ксюши, книжку Кати, фотографию Кости. Каждый предмет был обугленным осколком моей прошлой жизни. Я была похожа на сторожа на собственном пепелище. Мое материнство, моя женственность, моя любовь – все было исчерпано, обращено в пепел. Единственным логичным завершением виделось уйти. Не в смерть – в забвение. В монастырь. Предать свою душу – Богу.

Монастырь был старым, каменным, прохладным даже в летний зной. Его стены дышали вековым покоем. Меня приняли как трудницу. Физический труд – мытье холодных каменных полов, прополка огорода под палящим солнцем – был благословением. Усталость не оставляла места мыслям. Молитва стала ритмичным фоном, белым шумом для души. Я пыталась «замолить» все: «плохую» кровь моих дочерей, свою злость к Косте, свое отвращение к Ксюше, свое поражение как матери и женщины. В этой аскезе была своя жестокая чистота, иллюзия искупления через самоуничтожение.

Раз в неделю я ездила в пансионат к Косте. Он уже не узнавал меня, бормотал что-то несвязное о черноте, ползущей по стенам. И именно там, в этом месте, наполненном болезнью и тлением, я встретила Алексея. Он был волонтером. Немолодой, спокойный. Но не его спокойствие привлекло меня, а его глаза. Они видели боль, но не были ею сломлены. В них была какая-то странная, усталая нежность. Между нами не было слов. Только взгляды, украдкой брошенные в коридоре. Молчаливое понимание двух людей, приходящих в одно и то же место скорби.

Однажды на улице хлынул такой ливень, что мир растворился в серой водяной пелене, и Алексей предложил подвезти меня до монастыря.

– Нельзя же в такую погоду пешком, – сказал он просто.

Я кивнула.

В машине пахло старой кожей. Из динамиков лилась веселая музыка, создавая сюрреалистичный контраст с бешеным стуком моего сердца. Мы не говорили. Напряжение было физическим, осязаемым. Он смотрел на дорогу, я – в залитое водой окно, за которым не было ничего, кроме плывущих миров.

И когда он, паркуясь у стен монастыря, случайно коснулся моей руки, чтобы передать сумку, это стало не искушением. Разряд тока, доказательство того, что мое тело, которое я считала умершим, все еще живо. Это была не страсть, а животный протест против добровольного небытия.

Это случилось спонтанно, на тихой улице за углом, в его машине, под монотонный стук дождя по крыше. Для меня это было не блаженство, а последний, отчаянный выдох утопающего, который вдруг понимает, что не хочет тонуть. И моментально, как удар хлыста, пришло всепоглощающее чувство стыда. Я сбежала не оглядываясь, чувствуя себя не просто грешницей, а предательницей – самой себя, своей жертвы, своей идеи искупления.

Вернувшись в келью, я не могла молиться. Я стояла на коленях, но передо мной был не лик святого, а мое собственное отражение в темном окне – испуганное, живое, постыдное.

Через несколько недель тошнота и головокружение стали моими постоянными ощущениями. Я поняла, что беременна. Во мне зародилась новая жизнь. Но это известие не вызвало радости. Оно повергло меня в ужас. Я – блудница у врат рая, вынашивающая новое доказательство своей порочности. Я думала все время о своих дочерях, понимая впервые тот огонь, который сжигал их. И который, как мне казалось ранее, был мне недоступен. Мой ад обрел новое изощренное измерение. Передо мной лежали два пути, оба ведущие в пропасть.

Первый – тайный аборт. Совершить новое преступление, чтобы скрыть грех. Остаться в стенах, продолжая играть роль кающейся грешницы, ценность которой отныне была фальшива.

Второй – принять ребенка. Уйти, начать все с начала, но навсегда ощущать себя падшей женщиной, не достойной ни прощения Бога, ни уважения людей.

Ночью я в слезах стояла в пустом храме перед иконой Марии Магдалины. Я смотрела на лик женщины, которую тоже терзали страсти, и видела в ней не святую, а сестру по несчастью. Чувствовала ее поддержку. Утром я пошла на исповедь к отцу Серафиму, пожилому священнику из монастырского храма. Отец Серафим сидел, слегка склонив голову. Его лицо все было испещрено мелкими морщинками. Он не подгонял меня, не призывал. Он просто ждал.

И тогда, собрав в кулак все свое мужество, я подошла и опустилась перед ним на колени. И слова полились сами – тихие, исповедальные. И я выложила ему все. Не приукрашивая, не жалея себя. Историю Кости, яд его генов, ярость, отвращение, шаткое спасение Кати, смерть Ксюши, свое бегство в монастырь и постыдную отчаянную связь в машине под дождем. Я ждала суда. Ждала гнева, суровой епитимьи, которая окончательно подтвердила бы мою ничтожность.

Отец Серафим выслушал меня молча, не перебивая. После долгой паузы, когда в храме не было слышно ничего, кроме потрескивания свечей, он сказал мягко, почти по-отечески:

– Дочь моя, ты всю жизнь пыталась искупить то, что искуплению не подлежит. Чужую болезнь. Чужой выбор. Чужой грех. Ты носила это как свой крест. Ты принесла сюда свою жизнь как испорченную, ни на что не годную вещь, которую нужно выбросить или уничтожить. Но Бог смотрит иначе.

Он помолчал, давая мне проникнуться смыслом его слов.

– Ты хотела принести Богу в жертву свою жизнь, – продолжил отец Серафим. – Но Господу, видимо, твоя жизнь дорога как дар. Он не принял твоего обета. Он не хочет твоего бегства. Он послал тебе новую жизнь. Не беги от этого дара. Не соверши еще одного страшного греха – отвержения. Иди. Живи. Люби. Воспитывай этого ребенка. В мужественной любви к новому дню – твое настоящее служение. И твое истинное искупление.



Я вышла из храма. Воздух был чист и свеж после ночного дождя, пахло мокрой землей и зацветающей липой. Я плакала, но это были слезы не стыда, а освобождения. Я не была прощена – мне было показано, что путь к спасению лежит не через отрицание жизни, а через принятие ее во всей ее сложной, подчас ужасной красоте.

В хосписе я узнала телефон Алексея. Набрала номер.

– Алексей? Это Вера, – сказала я, и мой голос не дрогнул. – Я ухожу из монастыря. У нас будет ребенок.

С той стороны повисла тишина. Потом он сказал всего три слова:

– Еду за тобой.

Теперь мы живем в небольшой светлой квартире. Из окна видно детскую площадку и молодые клены. Я развелась с Костей, но не бросила его. Все так же навещаю его в пансионате, теперь вместе с Лешей. Он присматривает за ним как за родным братом. Сознание Кости полностью затуманено, и мы не знаем, в каким мирах и грезах он теперь пребывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.